

1.

С Тимофеем Кузьмичом Промокашкиным мы познакомились на писательских дачах. Это был высокий, но сутулый сухощавый старик под девяносто, с орлиным носом и колючими глазами, сверлившими окружающих из-под кустистых бровей. Когда он смотрел на тебя в упор, никак нельзя было определить, улыбается он своим мыслям или смеется над тобой. Конечно, поверхностное представление я имел о нем очень давно. Такую говорящую фамилию на литературном небосклоне Петербурга обойти было невозможно. Его знали все или почти все, кто когда-либо брался за перо.

Тимофей Кузьмич был старейшим критиком города. Старейшим настолько, что запросто мог себе позволить вспомнить, как Мариенгоф накричал на него в Комаровском Доме творчества из-за курицы, которую начинающий критик готовил под его окном.

— Прекратите жарить эту бедную птицу два часа кряду. Дышать же невозможно! — кипятился угасающий поэт Серебряного века. — У меня уже кот кашляет!

Представить трудно, что может случиться с куриным шашлыком при слишком длительной тепловой обработке, но сама история от времени нисколько не потеряла своей сочности и аромата.

Как-то на юбилей журнала «Звезда» в Доме Журналистов собрались почти все живые патриархи ленинградской литературы. Были Битов, Городницкий, Мочалов, Гампер, Горбовский. Словом, весь цвет. На сцену вышел Александр Кушнер. После стандартных приветствий он имел смелость сказать, что является в этом зале, по-видимому, самым старым автором журнала, первая публикация в котором датируется чуть ли не шестидесятым годом.

— Ну конечно, — скрипнул голос рядом со мной, — моя первая публикация в «Звезде» была в тысяча девятьсот пятьдесят третьем.

Я осторожно покосился на источник этого замечания. Надо ли удивляться, что голос принадлежал Промокашкину? Все дальнейшее выступление он просидел молча. Его на сцену не пригласили.

2.

Встречались мы нечасто — то на юбилеях, то на презентациях различных альманахов, а то и на похоронах. Кивали друг другу и расходились по разным сторонам зала или стола. И вот — судьба свела-таки нас близко. После нескольких лет стояния в очереди на аренду писательской дачи в Комарово мы с женой получили ключи от домика, в котором проживала когда-то Анна Ахматова. Поэт Цукерторт даровал нам с барского плеча роскошный угловой диван на веранду, мы обзавелись новыми книжными полками и шкапами, но, в общем, все оставалось точно таким же, как и семьдесят лет назад, при жизни царственной поэтессы. Даже причудливую корягу из леса приволокли и поставили неподалеку от входа, как было при Ахматовой — она любила подобное лесное язычество. У нее перед верандой стояла почти такая же, только больше раза в два.

Первым, кто нас посетил после заезда, был Тимофей Кузьмич.

— Вот, значит, какие новые соседи у нас теперь! — проскрипел он несколько настороженно, но миролюбиво.

Как мы ни старались, но от чая с пирогами он отказался. Строго заинтересовавшись, как у нас со спальными принадлежностями, спросил, не продавлена ли кровать.

— Все в порядке, спасибо, — ответила жена, — старенькая, но держится.

— Да... — мечтательно протянул Промокашкин. — Этой кровати не меньше шестидесяти лет должно быть...

— Что, еще ахматовская? — удивился я, но он как-то болезненно поморщился.

— Нет, конечно. Вся мебель из ее комнаты теперь в музее Фонтанного Дома. Но кровать ваша ее должна помнить. На ней наверняка спал кто-то из Аренсов. Это семейство ухаживало за ней здесь. Теперь таких спинок не делают, — он с трепетом провел старческой ладонью по выщербленной спинке, покрытой кое-где коростой темного лака. — Нынешний ширпотреб столько не прослужит.

— А вы застали Анну Андреевну? — осторожно спросила жена.

— Застал, конечно, — все так же строго ответил Промокашкин. — Мне как молодому критику Гитовичи выхлопотали на пару недель вон тот домик. Точнее, одну комнатку, которую я занимаю и сегодня, — он махнул рукой в сторону. — Более полувека с тех пор прошло. Я тогда, да и сейчас, признаться, очень боялся Ахматову. Обходил стороной, даже специально крюк делал. Только бы на глаза не попасться.

— А почему боялись? — простодушно спросил я.

Он как-то странно посмотрел на меня и нехотя ответил:

— Ну, кто она, и кто я?! А вдруг я ей не понравлюсь? Спросит: «Кто такой? По какому праву?» Да что я — ее все здесь боялись.

— Ну, вы с ней все-таки разговаривали?

— Нет, что вы! Всего один раз. Она как-то поймала меня, проходящего мимо, и спросила, нет ли проблем с заселением. А узнав, что не все в порядке с постельным бельем, помогла с подушкой. Та, что входила в комплект, была уж больно слежавшаяся. Анна Андреевна тут же переговорила с директором литфонда, и мне принесли новую прекрасную подушку из Дома Творчества. Тогда это большое дело было. Так Анна Андреевна поучаствовала в моей судьбе. А какой сегодня день, не подскажите?

— Кажется, суббота.

Он церемонно откланялся и зашагал на свою дачу.

3.

Устройство писательского поселка в Комарово было весьма своеобразным: на огороженном невысоким штакетником участке, среди сосен и елей, располагались шесть дощатых одноэтажных домиков, каждый из которых делился примерно пополам двумя писателями и их семьями. Самая первая дача появилась в середине прошлого века и строилась специально для Анны Ахматовой. Она занимала ее целиком

последние десять лет своей жизни. Говорят, даже шутила, что ее дом построен гениальным архитектором: при довольно большом объеме жить можно лишь в одной отапливаемой комнате. Остальное — веранды, кухни и подсобки. Поговаривали, что финны строили их по репарациям после войны. Эти каркасно-щитовые дома наши острословы быстро окрестили каркасно-щелевыми. Однако жить в них было можно, а если дополнительно утеплять и протапливать, то даже и зимой. С легкой руки поэтессы Элины Галюхиной, соседки Промокашкина по дачному домику, писательский поселок окрестили «Вороньей слободкой».

Автобусы с экскурсантами иногда несколько раз в день подъезжали к забору. Приезжие выгружались, разминали затекшие конечности и по долгу фотографировались на фоне зеленых домиков с аккуратными табличками: здесь жила Ахматова, здесь жил Бианки, а тут — Стругацкий. Кто-то из особо пытливых поклонников проникал и за забор, топтался по островкам черники, разбрасывал окурки, что, конечно, не могло не раздражать писателей — нынешних насельников комаровских дач. Но особый гнев вызывало то обстоятельство, что, побывав на участке, праздные зеваки зачастую не закрывали за собой многочисленные калитки, и писательская территория превращалась в проходной двор.

Работники пера и без внешних раздражителей не были замечены в большой нежности друг к другу. Правда, их соседство имело особую специфику. Иной раз неосторожное слово могло привести к скандалу или прекращению общения на долгие годы, а иногда литераторы, проявляя недюжинное терпение, спокойно свыкались с раздражителями, труднопереносимыми в других местах и при других обстоятельствах. Так, Инна Протопопова, жена председателя писательского общежития, прозаика Протопопова, страдающая деменцией, постоянно приходила ко всем стрелять сигаретки. Муж боролся с этим, но она неизменно улучала момент, по двадцать раз на дню спрашивая у одного и того же соседа, курит ли он и не угостит ли ее. Бывало, получив заветную сигаретку, она находила место, куда ее можно заначить, и тут же забывала о ее существовании.

Атаки туристов приводили творческих работников, собранных на небольшом пространстве, в крайнее раздражение. Особенно страдал Промокашкин.

— Вот раньше, — заламывал он руки, — здесь царили тишина и покой. Но покой не праздный, а рабочий! Из каждого домика доносился еле слышный стрекот печатных машинок. Люди вокруг на цыпочках проходили. Шептали друг другу на ушко: «Здесь работают писатели». А теперь — не поверите — я выдворил одну даму прямо с крыльца моего дома, а она мне претензии стала предъявлять! Мол, кто мы все такие, чтобы в этом святом месте проживать, и почему это здесь не музей!

— Действительно, — поддержал я, — ко мне тоже под вечер две поклонницы Анны Андреевны пришли и стали допытываться, кем я ей прихожусь. Я попытался отшутиться, сказав, что она моя незаконнорожденная тетка.

— А я — ее внучатая вдова! — выглянула с веранды жена.

— Так вот, поняв, что мы над ними просто смеемся, они на полном серьезе сказали, что нам тут жить не положено. Почему-то живые писатели мало кого волнуют. Не родственники — вон из святых мест! Зато мертвым — почет и музеи. А где будут жить и работать те, кто еще жив? Я уж не говорю про то, где деньги брать на музейных работников, площадки, фонды?

— А раньше здесь создавалась рабочая обстановка, — упирая руки в бока, тянул Промокашкин. — С детьми приходилось запрещали. Моей пятилетней внучке однажды выговаривали: «Детям на территорию нельзя, тут писатели». Она подумала и сказала: «Ну что ж, я напишу книгу и приеду сюда». Работалось тут действительно отлично. Однажды у меня был личный рекорд: за десять дней написал шесть статей! Не подскажите, кстати, какой сегодня день?

— А что, Тимофей Кузьмич, — подначил я, и сам не очень хорошо ориентируясь в днях недели, — ведь правда, раньше было лучше? Вот скажите. Вы прожили большую жизнь, можете сравнить.

— Для кого лучше? — хитро прищурился Промокашкин.

— Ну, вот хоть писателей возьмем. Заботились, дачи строили только за то, что стихи пописывали. Тиражи, гонорары...

— Ну, — нерешительно покачал головой старый критик, — в общем, определенные условия создавались. Одно только страшно было...

— Что?

— Страшно было в партию вступить.

— Почему, Тимофей Кузьмич?

— Врать не хотелось.

Этот ответ вверх меня в полуминутный ступор, из которого вывела Инна Протопопова.

— Молодые люди, — обратилась она сразу и ко мне, и к девяностолетнему критику, — у вас сигаретки не найдется?

— Нет-нет, мы не курим, — мягко ответил Промокашкин.

— А почему врать? — вернулся я к прежнему разговору. — В чем врать? Нет, не так. Кто кому врать не хотел, или кто кому врал, и в чем?

— В мои годы говорили так: «Если можешь — не думай, если думаешь — не записывай, если записываешь — не подписывай, если подписал — не удивляйся».

— Если записал — не закусывай, — подхватил обрывок фразы другой наш сосед — поэт Семенов. Он как раз проходил мимо, позвякивая пустыми ведрами.

— Вы что, передовиц того времени не читали? — не замечая его, проскрипел Промокашкин.

— Читал. Вводы в эксплуатацию новых мощностей, обмолот яровых, надои молока, выкуры курей и так далее. А ввали-то в чем?

— Ну, как в чем?

— В чем? Не обмолачивали, что ли? Или говорили про кур, а сами не курили?

— Обмолачивали...

— Так в чем же тогда? Про американскую военщину? Про коварные замыслы Пентагона? Тоже вроде не ввали. Теперь это уже очевидно.

Промокашкин посмотрел на меня, и я в который раз не смог определить, сердится он или, наоборот, жалеет меня.

— Мне вам не объяснить. Вы в то время не жили.

— Ну, почему же. Частично жил. Я родился при Хрущеве, с полдесятка наших правителей пережил. Что-то понять могу.

— При Хрущеве — улыбнулся Промокашкин мечтательно. — А я вот ребенком помню траурные флаги, когда Кирова убили... Ну, не буду вас задерживать. Какой день сегодня, не знаете, случайно?

— По-моему, четверг.

— Н-да, вероятно, — согласился Тимофей Кузьмич. — Ладно, пойду. А то вон, Инна круги сужает. Сейчас опять сигаретку попросит.

И он, коснувшись двумя пальцами козырька своей сетчатой кепки, резко отвернулся и пошел к себе. Он всегда уходил как-то внезапно. Не то чтобы оборвав разговор, нет. Как правило, тема была исчерпана, но просчитать, когда именно он откланяется, было невозможно. Отсюда возникало чувство особой ценности разговора и желание продлить беседу, сказать еще что-то, чтобы на мгновение задержать его.

— Так ведь и не раскрыл, в чем врать не хотел, — пересказал я этот разговор Семенову, когда тот уже возвращался с полными ведрами назад.

— Врать, говоришь? — усмехнулся Семенов. — А ты в курсе, за что его на излете советской власти из Союза писателей поперли?

— Слышал, — ответил я. — Там какое-то дело возникло нехорошее со вступлением в организацию...

— Да, говорят, деньги с кандидатов брал или членскими билетами приторговывал.

— Но его, кажется, довольно быстро восстановили, — не стал вдаваться в детали я.

— Он вообще осторожный лис. Когда у меня за стенкой пару лет назад жил прозаик Фомин, Кузьмич любил с ним потрындеть о том о сем. А как узнал, что тот в КГБ служил, так настолько перепугался, что даже приходиться к нам перестал. И меня просил ничего о нем Фомину не рассказывать. Боялся страшно. Казалось бы, кому он нужен? Да и КГБ давно нет, а вот пооди ж ты.

— Человек пожилой, понять можно, — пожал я плечами.

4.

Однажды мы встретились с Промокашкиным на железнодорожной платформе. Ехали, как выяснилось, в одной электричке, но в разных вагонах.

— Давайте в кафешку заглянем, — предложил я на радостях, что наконец-то удалось вырваться на пару деньков за город. — Пропустим по рюмашке за встречу.

Промокашкин неопределенно поджал губы, но дал взять себя под локоток и повлечь к столикам, выставленным из душного помещения под заросли высокой сирени. Рядом справляли окончание строительных работ усталые узбеки. На столе у них стояли початая литровая бутылка водки и остывшие шашлыки. Я минуты через две вернулся с бутылочкой сухого белого вина и блюдцем соленого арахиса. Следом официантка вынесла нам два сияющих фужера. Тимофей Кузьмич неодобрительно помотал головой, но фужер все-таки взял.

— Ну, раз уж мы так нестандартно решили распорядиться сегодняшним утром, — проговорил Промокашкин, — расскажите о себе. Я почти ничего вашего не читал.

— А что сказать? — растерялся я. — Пишу преступно мало. Ленив, непродуктивен, впечатлителен...

Промокашкин без тени сочувствия покачал головой, и, сделав маленький глоток, пронзительно впился в меня глазами:

— Это понятно, молодой человек. Это мы все можем о себе сказать. А что вы думаете обо всем об этом? — он медленно очертил пространство перед собой сухой, чуть дрожащей ладонью.

Не знаю, что имел он в виду: соседство с выпивающими рядом работниками, наше чудесное проживание на писательских дачах или течение всей загадочной жизни вообще. Но, собственно, так ли это было важно? Я ухватил повод поговорить по душам:

— Вот вы молодым человеком меня назвали, а я после пятидесяти стал катастрофически терять смысл жизни.

— А до пятидесяти вы им, стало быть, обладали?

— Не то чтобы обладал... Да у меня вообще все не как у людей... Когда надо было быть милым пухлым пупсом — я был дистрофиком второй степени и отказывался есть. Меня кормили через трубочку, вставленную в нос. Зато в самый репродуктивный период жизни, когда все постройнели и похорошели, я растолстел, и женщинам стал почти не интересен. Так же и со смыслом. Когда все мои сверстники в младших классах на вопрос: «Кем хочешь быть?» — метались между ответами «не знаю» и «космонавтом», я четко понимал, что хочу быть писателем. Даже не хочу, а являюсь. Я уже в третьем классе, не написав ни одной осмысленной страницы и считая русский язык самым неинтересным предметом после математики, четко знал, что я — писатель, и живу для того, чтобы написать то-то и то-то. Зато сейчас, когда мое поколение входит в стадию зрелости, и практически у каждого есть свои установки, обязанности, понимание, для чего они в этой жизни, что умеют и что могут еще совершить, — я полностью утратил чудесное знание своего предназначения.

— Так-так... — спокойно проговорил мой собеседник, допивая бокал, как бы подбадривая меня раскрываться дальше.

— Мне мало что стало интересно. Я могу уйти с любого самого интригующего места в фильме. Я почти равнодушно могу закрыть на середине самую умную книгу. Я теряю смысл своего существования, как бабочка теряет пыльцу, долго стучаясь о прозрачные стенки банки, куда ее поймал злой мальчишка. А без этой пыльцы какой полет? Даже если снять крышку с банки... Но самая большая тоска посещает меня на книжных салонах — там, где сердце любого писателя бьется сильнее. Меня просто отчаянье охватывает при виде океана книжной продукции. Я никогда не смогу прочесть десятой доли того, что вижу на витринах. Я никогда не смогу запомнить десятой доли того, что уже прочел. А где мое место в этом океане? Ну, написал я восемь книг. Напишу еще две или три. А может, десяток. Что изменится? А зачем тогда вообще?..

У соседей возникло оживление. К выпивающим узбекам присоединился грузный человек, тоже монголоидного типа, но огромного роста, с зычным голосом. Узбеки почтительно посадили его в центр, и он сразу же стал безудержно хохотать. Вероятно, работники дождались своего бригадира.

— Я встаю утром и понимаю, что скоро наступит вечер, — продолжал я, пробиваясь сквозь возросший шум праздника за соседним столом. — И ни строчки не просится на бумагу. Ни мысли, ни образа, ни какого-то смысла, в конце концов. И есть ли этот смысл вообще?

— Обычно люди, живущие бытом, семьей и зарплатой, отвечают, что смысл в детях, — немного оживился Промокашкин.

— Это прекрасно, и даже где-то трогательно, но ведь это — делегирование своих проблем дальше. Родители живут для детей, те — для своих детей, а те — для своих. Пятнашки какие-то, а не смысл жизни. То же и религия. Она препоручает смысл жизни Богу, о существовании которого никому, включая клириков, судя по разному в трактовках и обилию ересей, ничего не известно. Впрочем, последнее в данном случае не так и важно. Важно, что эстафетную палочку смысла церковь удобно передала в высшую инстанцию, как бы снимая с себя проблему. «Пути Господни неисповедимы». «Он все усмотрит». «Он все знает». Но мы-то не знаем. Я не знаю. А знает ли Он?

— Был такой поэт в 80-ые, Дмитрий Толстоба. Любил, кстати, Комарово. Годами жил в Доме Творчества, выкупая путевки отказавшихся писателей. Он написал такое четверостишие:

Мой Бог, твой мир огромен и подробен.
Я ем твой хлеб, я мну твои цветы.
И, если я во всем тебе подобен,
Мне жаль тебя — как мучаешься ты!

— Я его застал еще. Замечательный поэт был. Но ушел почти бесследно. То, что от него остался десяток стихов тончайшей выделки — отговорки. Ничего от него не останется через столетие-другое, — вздохнул я.

В этот момент дружно звякнули рюмки узбеков, и с соседнего стола послышался громогласный рык бригадира:

— Как же звали коня Александра Македонского?

Я с удивлением посмотрел на соседей. Событьльники здоровяка пожимали плечами.

— Эх, вы... У меня на языке прямо вертится, неужели никто не вспомнит?

— Буцефал, — обернувшись, но ни на кого не глядя, негромко прокрипел Промокашкин.

— Точно! — треснул себя по лбу бригадир. — Спасибо тебе, кучерявый!

Это было забавно, если учесть, что из головы Тимофея Кузьмича торчало от силы три седых волосины. Он вновь обратился ко мне:

— Я очень давно смотрю, как живут и умирают писатели вокруг меня. Многие видят смысл в написании книг.

— Это я понимаю... Но все-таки, книги зачастую тоже — мелкая возня. Что они сделали? Чему и кого научили? Кому помогли? Их авторы много бились... за место под солнцем, карьеру, читателя, тираж, за идеи, в конце концов. Кого-то превозносили, кому-то вредили, за кого-

то голосовали, кого-то свергали... Потратили жизнь на борьбу. И что? Зачем?

— А жизнь вообще, как газовая труба, — Тимофей Кузьмич лукаво сощурился, допивая бокал. — Добытый газ будет идти по ней независимо от того, удастся ли поставщику договориться о его продаже. Если никто не купит — его все равно придется стравливать в атмосферу. Так лучше пусть пойдет хоть на какое-нибудь дело. Есть смысл жизни, нет смысла жизни, а жить-то все равно приходится. Надо писать, пусть даже результат ничтожен, и ничего не остается в веках.

— «Пусть проиггыш велик, а выиггыш ничтооожен...», — голосом Вертинского прогундосил я.

— Сидите, умники? — реплика с соседнего стола была адресована нам. Это все никак не мог уgomониться бригадир. — Айда к нам! Что вы там за гадость пьете? У нас нормальная водка!

— А у нас серьезный разговор! — я строго посмотрел на бригадира, но тот только весело подмигнул мне и махнул рукой.

— А мне кажется, что потеря смысла сильно влияет и на отношение к жизни. Я начал с того, что у меня все не как у людей. Прошло каких-то полвека, и когда все либо обрели понимание, для чего они существуют, либо просто перестали задаваться подобными вопросами, я потерялся в этом мире и утратил смысл даже в своем творчестве.

Когда наше сухое было допито, и мы засобирались на дачи, к нам пошел большой бригадир и весело пробасил:

— Сухарь — не мужской напиток! Вот, возьмите, пригодится.

И он положил перед нами на стол две одинаковые визитки. Надпись на них поразила меня своей лаконичностью. Она была столь же краткой, сколь и претенциозной: «Есть проблемы? Есть решение! Назар Нуры». И телефон внизу.

Мы машинально сунули их в карманы и, вежливо откланявшись, пошли на выход. Лишь у самых писательских дач я достал визитку и, повертев ее, произнес:

— У нас тут большие проблемы со смыслом. А человек, похоже, берет за любые! Один звонок — и Назар Нуры легко развеет наши сомнения!

— Тоже мне, джин. Раб лампы. Точнее — телефона, — сухо улыбнулся Промокашкин. — Наберите его, пусть извилины поморщит.

— Может, достаточно потерять визитку три раза? Пожалуй, что и не решусь, — вздохнул я. — А то вдруг и вправду откроет нам весь смысл жизни. И жить совсем не захочется. Уж лучше неведение...

В голове же тем временем возник отрывок из песни Владимира Высоцкого:

«...Ну, а после — чудеса мне по такому случаю:
Я до небес дворец хочу — ты на то и бес!..»
А он мне: «Мы таким делам вовсе не обучены,
И кроме мордобитиев — никаких чудес!»

5.

Частенько мы зазывали Промокашкина на вечерние чаепития на свежем воздухе. Из грубых досок был сколочен довольно большой стол перед домиком, где любили собираться разным составом возле самовара наши друзья. Причем самовар на пять литров был самым настоящим, топящимся щепочками и сухими шишками. Тимофей Кузьмич иногда отказывался, но бывало, что и садился с краю, сняв свою неизменную кепку. Обычно выпивал чашечку чая или — если было на столе — полрюмочки коньяка. От закуски всегда категорически отказывался.

— К вам вчера Даниил Гранин заходил, — сказал я, когда он проходил мимо и любезно согласился подсесть к нашей компании.

— Ой, жалко как! — расстроился Тимофей Кузьмич. — А я только из города сегодня приехал. Надо будет зайти к нему. Он что-нибудь просил передать?

— Нет-нет. Видимо, просто, гуляя, заглянул.

Гранин, дача которого стояла в начале нашей улицы, действительно изредка посещал наше поселение — то с Семеновым поболтать, то с Промокашкиным. С остальными Даниил Александрович был суров и немногословен. Как-то, узнав о том, что он в 60-е годы возглавлял отдел по работе с молодыми авторами, мы с женой задали вопрос относительно выпускавшегося тогда альманаха «Молодой Ленинград», на что он удостоил нас всего одной ледяной репликой: «Мне это не интересно». Что явилось причиной такой индифферентности? Недостаточный наш литературный вес в его глазах?

— А что вы можете сказать о Данииле Александровиче? Он такой закрытый, не подступишься, — обратился я к Промокашкину после того, как Инна Протопопова опросила всех сидящих за столом на предмет сигаретки.

— Ну, что я могу сказать? Данила самый умный, нет, я бы даже сказал — самый мудрый человек из всех, кого я знал в своей жизни!

— Правда? — пожал плечами я. — Это интересное наблюдение. Он ведь всегда в фаворе был. При любых властях, при любых формациях. И всегда вроде как правдолюб, критик существующих порядков, а вроде и официально признанный, уважаемый человек. Это, действительно, нужно умудриться.

— Не всегда в фаворе, — заметил Промокашкин. — Я помню, бывали и у него сложности со Смольным. Но он был умнее, и всегда добивался своего.

— Для обывателя, наверное, трудно переоценить такое качество, а вот для писателя — не думаю, — вставила свои пять копеек жена.

— Что ж, писателю ум не нужен, что ли? — криво улыбнулся Промокашкин.

— Почему же не нужен, — поддержал я жену. — Просто там ум другой, не приспособленческий должен быть. Когда написал, вскрыл самую сердцевину проблемы, и тем самым, возможно даже повредил себе, своей карьере. С бытовой точки зрения это может быть неразумно, а вот с писательской — совсем наоборот.

— Ну уж, скажете тоже, приспособленческий. Это прямо по Евтушенко, — и Промокашкин, задрвав орлиный нос к небу, бойко процитировал:

Все те, кто рвались в стратосферу,
врачи, что гибли от холер, —
вот эти делали карьеру!
Я с их карьер беру пример.
Я верю в их святую веру.
Их вера — мужество мое.
Я делаю себе карьеру
тем, что не делаю ее!

— Собственно, это все — тоже одно большое вранье, — закончил Промокашкин.

— Почему вранье, Тимофей, Кузьмич?

— Да потому, что такими лозунгами он драпировал собственную карьеру весьма искусно.

— Какая хорошая у вас память! — всплеснула руками жена.

— Я бы сказал — странная, а не хорошая. Помню все из детства, хорошо помню юность. А вот вчерашний день забываю. Что говорил, и кому? Иной раз не помню, завтракал или нет. Сегодня какой день, кстати?

— Сегодня вторник, так что мы можем славно с вами поужинать, — тотчас откликнулась жена.

— Спасибо, — строго и почти назидательно ответил Промокашкин. — Сегодняшний ужин я помню более чем отчетливо.

Было не совсем понятно, хорошо это или плохо, и что из этого «более чем» должно было следовать. Но все мы почувствовали некую вину за его отчетливо запомнившийся ужин.

— Все же скажу, — вернулся я к прерванной теме, чтобы как-то разрядить атмосферу. — В недавнем газетном интервью журналист спро-

сил у Гранина: «Вы прожили жизнь на стыке драматичных эпох. Как вы охарактеризуете в одной фразе такую насыщенную жизнь?» И знаете, что он ответил?

Я торжествующе обвел взглядом всех собравшихся за столом и, выдержав мхатовскую паузу, почти выкрикнул:

— Он сказал: «Я уцелел!»! Это как? Это мог про себя Сократ, мудрейший из смертных греков, такое сказать? Или Галилео Галилей? Можно представить себе, что высшим достижением своей жизни Толстой или Горький, или я не знаю кто, назвал бы, что он де уцелел? Тут ведь прямо по Евтушенко, которого вы только что цитировали:

Ученый, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.

— Это верно, тот еще карьерист был! — заметил Тимофей Кузьмич, неизвестно кого имея в виду.

6.

Вообще память Промокашкина была замечательной. Он никогда не навязывался с беседами, стараясь проходить незаметно мимо, но, если уж мы зацеплялись языками, мог часами рассказывать о своих замечательных знакомых. О дружбе с литературоведом Юрием Лотманом, о частых прогулках с Федором Абрамовым, о том, как поссорился на этих дачах с Глебом Горышиным.

— А вот Володе Бахтину, замечательному нашему фольклористу, в тот домик, который сейчас занимает драматург Скворцов, провели телефон, единственный на все шесть дач! — любил вспоминать Промокашкин. — Мобильных телефонов тогда еще не изобрели. К нему вереницей ходили писатели позвонить. И Володя, в жизни не очень обласканный славой, с гордостью говорил: «Я никогда еще не был так востребован, как сейчас!»

Тимофей Кузьмич иногда вспоминал наизусть целые куски из стихов своих современников. Как-то на веранде одного из наших домиков в очередной раз зашел разговор о том, что советская власть пестовала ученых, литераторов, работников культуры. Проходивший мимо Промокашкин, поймав обрывок разговора, мгновенно процитировал по памяти:

Мы все, лауреаты премий,
Врученных в честь его,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.
Мы все, его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда.

— Это кто, Тимофей Кузьмич? — спросила моя жена.

— Один из тех, кого пестовала советская власть, — проскрипел Про-
мокашкин.

— Ну, все-таки, скажите.

— Ой, Господи, знать надо своих классиков, — недовольно буркнул
Тимофей Кузьмич. — Это Павел Антокольский.

После недолгого молчания жена восторженно воскликнула, какая же
прекрасная память у Тимофея Кузьмича, и набрала ключевые слова в
телефоне, вслух зачитав оставшийся отрывок:

Таившиеся друг от друга,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей...
Мы — сеятели вечных, добрых
Разумных аксиом –
За мрак Любянки, сумрак Допров
Ответственность несем.
И пусть нас переметит правнук
Презрением своим,
Всех до единого, как равных, –
Мы сраму не таим.
И очевидность этих истин
Воистину проста.
И не мертвец нам ненавистен,
А наша немота.

Меня же стало заносить совсем в иную сторону.

— Беда росла не из молчания, а как раз из немолчания, — начал я
твердо. — Даже в контексте этого стихотворения понятно, что беду
творили те, кто боролся с инакомыслящими, писал доносы, клеймил
предателей (как им тогда казалось). Но ведь люди — то есть большин-
ство, которое можно воспринимать как народ (отсюда и «враги наро-

да») — защищали себя и свои завоевания от стяжателей, капиталистов, от западного влияния, в конце концов. Можно ли называть доносчиком человека, который, видя противоправные или иные, разрушающие его государство действия, пытается обнаружить их, разоблачить, бороться с ними? Но это уже другой вопрос. Главное, что меня волнует — это то, с какой легкостью эти истины стали Антокольскому «воистину просты». Действительно, чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что если что-то кажется простым и очевидным — значит, все далеко не просто и не очевидно. Гегель же утверждал, что противоречие есть критерий истины, а отсутствие оно — критерий заблуждения! Часто даже, думая о чем-то, как об очевидном, мы находимся в полнейшем неведении относительно данного предмета, или вовсе заблуждаемся на его счет.

— Чем больше живете, — улыбнулся Промокашкин. — А позвольте узнать, сколько же вы живете?

— Да мне уже за полтос, Тимофей Ильич! — гордо произнес я.

— Надо же! Значит, чтобы что-то понять, вам потребуется еще столько же времени, чего я искренне вам желаю.

И Промокашкин снова рассказал о том, как видел в детстве демонстрацию после убийства Кирова.

Он уже собрался дернуть под козырек в своей манере исчезать молниеносно, но я, сойдя с веранды, взял его под костлявый дрябловатый локоток:

— И еще, заметьте, не правнук пометит сталинское поколение своим презрением, а окрестные народы будут метить презрением наших внуков и правнуков, перечеркивая уже всю нашу культуру и образ жизни. И уже метят. На основании показаний всех этих в одночасье прозревших свидетелей эпохи будут уничтожать не благородных правдуров, так как их самих уже давно нет, а нас с вами. Да что там нас — детей и внуков наших. Мы все в глазах далеко не дружественного мира, который уже не раз проигрывал в схватке с Россией и СССР, сами себя демонизируем, давая им в руки оружие против себя. Ведь, несмотря на то, что борьба с инакомыслием происходила везде и всюду, способами еще более кровавыми и бескомпромиссными, судить будут только тех, кто добровольно себя самооговаривает, кто сладострастно взваливает на себя эти грехи сам. Это бравый Антокольский пишет «Мы сраму не таим!» А вот они там, на Западе, — таят. У них про это фильмы не снимают и стихов не печатают.

— У них вообще стихов не шибко печатают...

— Молодые люди, сигареткой не угостите? — вплыла в разговор Инна Протопопова.

Я только руками развел, продолжая тему:

— У нас ведь тоже перестают стихи печатать. Мы ж за «цивилизованным миром», задрав штаны, бежим... А благодаря таким вот самодоговорам получается, что только мы и виноваты одни на этом свете. После хрущевских разоблачений только ленивый на эту тему не писал. Военное поколение с катушек съехало. Не только Антокольский, но и Симонов, и Слуцкий, и, страшно сказать, та же Ахматова. Все вдруг прозрели — и получился дикий перекося в обратную сторону. Как будто в других странах ничего подобного не было никогда. Сейчас, когда молодежи рассказываешь о том, что в Америке есть до сих пор засекреченные демографические кривые по тридцатым годам, рты раскрывают. А куда делся красный Голливуд? А где коммунисты Европы тех лет? Всякий строй защищает себя. Иначе он перестает быть. Это закон существования обществ. Просто они не вытаскивают свое бельё на людях. Не рассказывают про свои депортации, про свои лагеря, про свои репрессии. Это у нас были открытые процессы, выступления возмущенных рабочих. А у них людей просто по лесам закапывали, мафию натравливали — и все, нет левого движения...

— Про них что говорить? Про них пусть они сами говорят. Мы о себе только говорить можем! — взвизгнул Промокашкин.

— Почему же? Мы не одни в мире живем. Если все открывают свои архивы и признаются во всех грехах — это одно. Я готов участвовать. А если все сидят по своим углам, и только мы каемся и берем за все ответственность, то я не согласен. Нас и так в каком только свете не выставляют. Мы уже и пособники во Второй Мировой войне, и черте что!

— А за что травили цвет тогдашнего литературоведения? — вернул меня к литературе Промокашкин. — Гуковского, Жирмунского, Азадовского, Эйхенбаума? Да ни за что! За космополитизм, за низкопоклонство перед Западом и недооценку великой русской литературы!

— А этого мало, Тимофей Кузьмич?

Промокашкин аж поперхнулся.

— Ну что мы, не видим всего этого вокруг себя сейчас? — не останавливался я. — Да если наших творческих интеллигентов не держать в рамках и вовремя не одергивать, ведь все же сдадут, все раздербанят.

— Что они дербанили? Это были наши учителя, наши любимые профессора. Они литературой занимались. Высокой литературой. Вы еще слишком молоды. Вы не жили тогда.

— Конечно, я не многих застал. Но я тоже учился у них. Во всяком случае, у Жирмунского. И я тоже питаю к ним глубочайшее почтение. Стиховедов вообще уважаю. Я, например, Мануйлова лично знал, Холшевникова. Но ведь не в этом дело. Помимо профессиональных качеств, должны быть и гражданские. Вы посмотрите, к чему привела наша всег-

дашняя толерантность. Все свои позиции сдали. Зарплаты в долларах меряем, на Невском все рестораны и кафе на латинице. Своего почти не осталось. И я считаю, что тех, от кого зависит общественное мнение...

— Да что от них зависело? — перебил Промокашкин. — Они науку двигали!

— Многое, Тимофей Кузьмич! Они студентов воспитывали. Вот вас, например. Они вам в голову свое отношение к языку, стране, народу вложили. А вы как наш виднейший критик вкладываете свое отношение по цепочке уже своим читателям.

— Перестаньте, лезть вас не красит. Никакой я не «виднейший». Да и не читает никто уже ничего. Читатель исчез.

— Так не потому ли исчез, что слишком бережно относились к низкопоклонству? Многое прощали, миндальничали. Вот скажите мне, если их всех так гнобили и травили, откуда их такое количество взялось? И ведь только в то время. Ни до, ни после такого расцвета не было. Где сейчас в наши замечательные времена хоть один Жирмунский? Покажите.

— И с Бродским миндальничали?

— И с Бродским в первую очередь!

— Не дай бог, молодой человек, чтобы с вами так поминдальничали.

— В любой другой стране за попытку угнать самолет, я думаю, с ним поступили бы жестче. Вы же в курсе, что это дело просто замаяли? И потом, был в стране такой закон — «О тунеядстве». Так решил народ. Все должны трудиться или иметь основание для того, чтобы не работать. Недопустимым считалось жить за чужой счет. Пусть даже это счет папы с мамой. И я считаю, что это правильный подход. Я не копался в тонкостях, но слышал, как тот же Азадовский сказал: чтобы попасть под эту статью, надо было быть Бродским, поскольку вел он себя нарочито выходящее.

— Он был поэт!

— И что? Поэту позволительно нарушать законы государства?

— Он ничего не нарушал. Он стихи писал. И если бы его печатали, и приняли в Союз писателей, вопрос о тунеядстве не встал. А ему не давали...

— Вот чего я никак не пойму, так это заламывания рук: «Ах, ему не давали, ах, его не печатали. Его лишили куска хлеба и писательского пайка!» А кто и что ему давать должен был? Кто нам всем чего-то дает сейчас? Если и давала, так только та же самая партия. Вот эти домики, например писательские, эти гонорары. А не печатают — так ты не инвалид. У тебя две руки, две ноги, голова на плечах. Иди в дворники, сторожа. К котлу, к станку, к рейсфедеру, в конце концов. Горбовский в

геологи подался, Соснора у станка на Кировском заводе стоял, Кушнер в школе рабочей молодежи преподавал. А кто обещал, что будет легко? Я сейчас не говорю про талант. Но я спрашиваю, почему плотнику, сварщику, инженеру или врачу закон нарушать нельзя, а поэту можно? Это я сам как поэт интересуюсь. А по какому принципу определять, кому можно, а кому нельзя? Критерии должны быть? Я сейчас не про строгость законов, даже не про справедливость. Вот есть такой закон. Но по-эту почему-то можно. Гениальному — точно можно. А не гениальному? А графоман тоже хочет. А гениальному скульптору можно? А режиссеру? А может, режиссеру можно, а актеру, допустим, нельзя. Где те рамки?

— Да ну, что вы выдумываете! — вскричал Промокашкин. — Ведь дело-то все сфабрикованное. Вопрос не в том, что он закон нарушил, а в том, что в отношении него как раз беззаконие было совершено. Он на тот момент и публикации кое-какие имел, и переводами занимался.

— Такое ли уж беззаконие? Состоялся суд. Достаточно открытый. С обвинителями, защитниками, свидетелями. Во многом, конечно, ангажированный. Многие, точно так же живя не своим трудом, таких процессов избежали, но это еще не значит, что его осудили незаконно. Это значит, что исполнение законов у нас очень мягкое. Он, кстати, и треть своего срока не отсидел. Да, он имел публикации. И даже договоры на переводы с издательствами. Но ведь эти договоры расторгли.

— Расторгли стараниями его зоила Лернера.

— Так это не важно. Важно, что справок, доказывающих, что он живет своим трудом, а не тунеядец, все-таки не хватило для оправдательного приговора. Иначе бы приобщили к делу, пожурили, и сами же еще и на работу устроили. Кстати, а вы знали, что Бродский вынашивал план найти немецкий шмайсер, взять в заложники первого секретаря обкома и держать его на одной из здешних дач в качестве заложника, требуя смены политического режима?

— Что за ерунда?! — не поверил Промокашкин.

— Я бы и сам решил, что ерунда, если бы не прочел это, как непреложный факт, в книге Якова Гордина «Переключка во мраке».

— Ну, этого быть не может! Это уже беллетристика какая-то. Яша не мог такое придумать. Он его друг.

— Конечно, не мог придумать, потому и написал, как есть. Как раз потому, что друг, ему верить можно.

Промокашкин несогласно покачал головой, и я решил отпустить старика. Стоило ему предложить чего-нибудь перекусить, как он сразу начинал откланиваться.

— Пойду на озеро, — проскрипел он, — к вечеру водичка должна прогреться. Кто знает, какой сегодня день?

7.

Несколько лет совместного проживания на писательских дачах сблизили наши если не идеологические, то хотя бы человеческие позиции. Мы все безоговорочно произвели Промокашкина в местные патриархи и довольно беззлобно подшучивали над его в общем-то уже безобидным образом мизантропа. Кто-то выдал ему кличку «Паутиныч», и она плотно приклеилась, хотя, разумеется, он не знал об этом. Впрочем, думаю, Тимофей Кузьмич бы простил, поскольку обладал отменным чувством юмора. Однажды, встретив меня утром у колодца — да-да, того самого, из которого молодой Бродский таскал воду Ахматовой — он с сочувствием посмотрел на меня и спросил:

— Что, вода после вчерашнего застолья особенно вкусная?

— Хороша водичка, — согласился я, сделав несколько больших глотков ледяной воды прямо из ведра на ржавой цепи.

Промокашкин сразу посуровел и строго сказал:

— Молодой человек, вы вчера со своими гостями до трех часов ночи кричали. Но меня беспокоил только один вопрос, когда я переворачивался с боку на бок: вы о политике спорили или о литературе? Я решил для себя, что спущу этот инцидент на тормозах, только если о литературе.

— Простите великодушно! Конечно о литературе, Тимофей Кузьмич! Бахыт Кенжиев договорился до того, что фразу Дмитрия Кедрина «У поэтов есть такой обычай, в круг сойдясь, оплевывать друг друга» приписал Александру Блоку. Это же возмутительно!

— Я думаю, что он перепутал кедринскую «Кофейню», по недостатку слуха, с блоковским пустынным кварталом: «Там жили поэты, — и каждый встречал другого надменной улыбкой».

— Скорее всего, — удивился я его осведомленности.

— Н-да, — Промокашкин уже развернулся по направлению к своему домику, — алкоголизм не пропьешь!

Он было еще разок обернулся, но я, предупредив его вопрос, быстро сообщил, какой сегодня день недели.

8.

Приближалась круглая дата со дня рождения Анны Ахматовой. Ожидались серьезные гости из Москвы. Должны были приехать бывший литературный секретарь великой поэтессы Анатолий Найман, группа артистов во главе с Юрским и прочие медийные лица. Естественно, за пару недель до означенного события мы сообща решили устроить уборку на

нашем участке. Ветхий сарай напротив домика Промокашкина пришел в окончательную негодность. После снежной зимы у него обвалилась крыша, и мы решили разобрать покосившиеся стены на дрова.

— Этот субботник организуем в честь Паутиныча! — торжественно возвестила Галюхина.

Самого патриарха, ввиду возраста и общественного положения, решено было не задействовать. Но рядом с сараем ему торжественно поставили кресло, из которого он с удовольствием наблюдал за происходящим. Раз в пятнадцать-двадцать минут к нашей небольшой компании подходила Инна с неизменным вопросом про сигаретку, и каждый раз удивлялась тому, что никто не курит. Промокашкин время от времени спрашивал, какой сегодня день, и раздавал ценные советы. И в этом сквозила такая гармония, что работа кипела довольно результативно. Доски складывались в шесть кучек, чтобы впоследствии можно было порезать их двуручной пилой и отнести под домики для растопки.

— Возможно, это последний год, когда наш поселок закреплен за писателями! — посетовала поэтесса Галюхина.

— Как же так? — с досады сплюнул Семенов. — Что ж мы, зря тут надрываемся!?

— Не зря! — уверенно ответил Скворцов. — Мы поднимем ответственность. Город не допустит такой потери.

— Не допустим! — поддержал его, пришедший на субботник Цукер-торт.

— Вот-вот, — вздохнул председатель, — дожили. Встал вопрос о продаже наших писательских дач с молотка! И это в юбилейный год рождения Анны Ахматовой. Необходимо написать письмо губернатору. Мы будем бороться!

— Все суды Литфонд проиграл, — резонно заметила Галюхина. — Росимушествву наплевать и на писателей, и вообще на всякую культуру.

— С таким председателем, как у нас, не пропадешь! — неожиданно подал со своего кресла голос Промокашкин.

— А что я могу? — расстроено спросил Протопопов. — Я, конечно, все напишу, письма мы направим, прессу возбудим. Но писатели и вправду не стяжатели по сути своей. Не торгаши. Не умеют хозяйством распорядиться.

— Да, дело осложняется тем, что чиновники — люди хоть и безыдейные, но хорошо подкованные, и руководствуются четкими нормативами. В то время как писатели — это форменные шляпы! Они все спустили, у них все можно отнять, — рассудительно проговорила переводчица Альдебаранова.

— Что подкованность чиновников? Ими руководит корысть, а у нас за спиной такой председатель! Как говорил Наполеон: «Армия баранов, руководимая львом, всегда победит армию львов, которыми руководит баран!» — неожиданно подвел итог Промокашкин, и все собрание зааплодировало этому победному афоризму.

— Блестящий интеллект! — только и смог вымолвить, пришедший нам помогать, Цукерторт.

— А какой, простите, сегодня день? — посмотрел на меня Промокашкин. Не успел я открыть рот, как услышал рядом голос Инны:

— Молодые люди, сигаретки у вас не найдется?

— Ну, Инночка, отстань от людей, сколько можно! — рассердился Протопопов.

9.

К слову сказать, юбилей Ахматовой прошел на ура. Известные артисты, стихи, песни, огромное количество народу. Только поэтессе Галюхиной омрачил настроение драматург Скворцов. Она тоже на этой неделе справляла какую-то круглую дату, и он торжественно вручил ей запечатанный конверт.

— Хочу подарить тебе самое дорогое, что у меня есть сейчас, — важно произнес он, садясь за общий стол.

Элина с трепетом приняла подарок и унесла в комнату, в шкатулку для драгоценностей. На следующий день она с возмущением поведала нам, стоя в шелковом халате на веранде:

— Представляете, он совсем рехнулся! Хоть бы открытку с добрыми словами в этот конверт вложил, хоть бы пучок ландышей из-под крыльца нарвал!

— А что же он вложил? — спросил я, наливая себе кофе.

— Не поверишь! Я конверт вскрыла, а там — окуроч!

— Как — окуроч? — удивилась Альдебаранова.

— А вот так! Натуральный окуроч. Грязный, сморщенный.

— Зачем?

— Вот и я его спросила утром: зачем?

— И что он?

— А это, говорит, окуроч самого Юрского! Я, говорит, увидел, куда он его бросил, и подобрал для истории. Дурак какой. Окуроч самого Юрского подарил, надо же! Видеть больше Скворцова не могу!

В один из дачных сезонов Промокашкин в свой домик не заселился. Какое-то время мы не знали, что думать. Долго не удавалось связаться ни с кем из его близких. Наконец, ближе к июлю поступили известия, что его выписали из больницы, и он находится дома. Ухаживать за ним есть кому, но пока и думать о проживании на писательских дачах невозможно. Без горячей воды, теплого туалета и прочих удобств ему стало некомфортно. Мы решили, что он появится в следующем сезоне. И вдруг в конце августа он возник на нашем участке в неизменной серой кепке с козырьком и, обведя нас строгим взглядом, вяло поздоровался. Сбежались к нему почти все, кто находился в тот момент в нашей «Вороней слободке».

— Тимофей Кузьмич, вы надолго к нам? — повис в воздухе центральный вопрос.

— А я давно тут у вас. Просто некогда было заглянуть.

— Это в каком же смысле — давно? — удивилась Галюхина.

— Да не помню, с месяц уже. Какой сегодня день, кстати?

— Сегодня понедельник. Но что значит «с месяц»?

— А я здесь, неподалеку, в частном геронтологическом центре «Спутник»! — надменно отрапортовал Промокашкин. — Вот, зашел посмотреть, как вы тут живете.

— Да вы что?! — обрадовано воскликнула Телегина. — Надо же, сюрприз какой! Давайте мы вас чайком напоим.

— Чайком! — гордо передразнил ее Промокашкин. — У меня там питание по восемь раз в день. Первый завтрак, второй, обеда, полдники...

Протопопов присвистнул:

— Дорогой центр, наверное?

— Семь с половиной тысяч в сутки, — шепнула Альдебаранова. — Я узнавала, когда мы там выступали перед старичками.

— Мне сделали скидку, — словно услышав ее, проскрипел Промокашкин. — Шесть триста в сутки. Но там и массаж, и душ Шарко. В общем, все условия. Ну, а вы как тут проживаете?

Мы все как-то потупились.

— Душ Шарко пока не установили, — произнес подошедший Семенов. В руках у него снова покачивались ведра.

Глядя на колеблющуюся в них прозрачную воду, Промокашкин высоко поднял дрожащий указательный палец и назидательно произнес:

— Это место — для непряхотливых.

Мы переглянулись.

— Чтоб я так жил! — невпопад воскликнул Семенов.

Самовар все-таки поставили. Я сходил на торец дома, где буйно, в рост человека разрослось неизвестное нам широколистое растение, отдаленно напоминающее бамбук. После зимы от него оставались сухие тонкие трубчатые стволы, которыми замечательно растапливался наш блестящий агрегат.

— Кстати, что это за поросль? — спросил я, возвратившись с целой охапкой сухих палочек.

— Это очень похоже на побеги сахалинского горца, — сказала главный садовод нашего поселка — переводчица Альдебаранова.

— Сильва Гитович говорила, что принесла со своего участка Анне Андреевне даурскую гречиху, — проскрипел Промокашкин. — Она, мол, красиво цветет и крайне неприхотлива. Они как раз с той стороны дома ее сажали.

— Тимофей Кузьмич, вот вы где! — раздался истеричный крик за забором.

Мы все обернулись на голос и увидели запыхавшуюся девицу в белом халате, катившую перед собой инвалидную коляску.

— Можно к вам на территорию заехать? — спросила она, впрочем, уже отодвигая засов и вкатывая тележку внутрь.

— Конечно, можно, — пожал плечами Протопопов.

— Ой, а я и забыл, что в гостях. Это за мной, — холодно констатировал Промокашкин.

— Господи, как же вы нас напугали! — запричитала девушка. — Мы вас всем пансионатом ищем. Вам же на процедуры пора. Садитесь в каталку, я вас сейчас пледом накрою.

Промокашкин спокойно уселся в кресло и обвел нас орлиным оком, не то торжествуя, не то жалея нашу компанию.

— Фу-ты ну-ты! — вслед ему пробормотала Галюхина. — Мы все тут «неприхотливые», значит!

Когда Промокашкина увезли, Семенов со вздохом понес ведра к себе в домик, а Альдебаранова, смотря в след удаляющийся тележке, произнесла, адресуясь скорее к пространству, нежели к нам:

— Хорошо иметь богатых родственников!

Инна подошла спросить сигаретку.

— А я бы свой домик ни на какую палату геронтологическую не меняла, — победно заявила Галюхина.

— И я, пожалуй, тоже! — сказал я, а про себя подумал, что бог его знает, как может дело обернуться в таком возрасте и при таких обстоятельствах.

За весь сезон он больше у нас не появился. Лишь один раз мы с женой видели его, прогуливающимся по соседней улице под ручку все с

той же медсестрой. Раскланялись, но разговора не произошло. Он не проронил ни слова, и они завернули за угол.

11.

Закончилась осень. Прокатилась холодная темная зима. Мы с женой стали приезжать в начале апреля одними из первых. Кругом под соснами еще лежал ноздреватый снег. Как крышкой люка, был запечатан слоем льда колодец. Но уже посвистывали птицы, и с соседних дач приятно тянуло дымком жженных прошлогодних листьев. Мы протапливали круглую грузную ахматовскую печку-голландку, которая спасала ее в холодные вечера, убирались, раскладывали привезенные продукты, книжки. Готовили себе нехитрую еду и уезжали в тот же день в город. Эти поездки позволяли просушить сырой деревянный дом и подготовить его к дачному сезону.

В мае резко потеплело, и уже можно было оставаться на ночь.

Это случилось утром. Несмотря на свежий ветерок, мы решили позавтракать на улице за дощатым столом, с которого смели веником хвойные веточки и иголки. Поставили чайник (самовар на пять литров для двоих нам показался нецелесообразным), вазу с печеньем, несколько баночек с самодельным вареньем, сахарницу. На веранде доваривались макароны в большой кастрюле. Оставалось лишь натереть туда сыра и добавить соленого укропа.

Вдруг из соседнего домика выбежала растрепанная Галюхина. Мы было обрадовались, что есть еще свои на нашем безлюдном пока участке, но внешний вид Эллы не предполагал ничего приятного.

— Ребята! — вскричала она, подбежав к нашему столу, даже не поздоровавшись. — Ко мне бомж в дом забрался!

— В каком смысле?

— В каком, в каком? В самом ужасном — в прямом! Я приехала, ничего не подозревая открыла дом, стала все проветривать. Сырые подушки с одеялами вытащила на воздух. И слышу — голоса за стенкой.

— Радио, наверное, с осени не выключила.

— Как же! Это он включил. Он и сейчас там сидит. Я на половину Прокошкина зашла, а он в комнате на кровати лежит и телевизор смотрит, как у себя дома. Прямо в одежде, в сапогах. Помогите его выгнать. Он все продукты из моего холодильника съел, все консервы подмел!

Я застегнул куртку и поискал глазами, что из оружия можно взять для вящей убедительности. На глаза попала только швабра, и я удовлетворился этим.

— Давай вместе пойдем, — сказала рассудительная жена, тоже застегивая на себе куртку и беря с веранды садовый секатор.

— Как он забрался? — спросил я.

Галюхина пожалала плечами. В самом решительном настроении мы двинулись на половину Промокашкина. Распахнули дверь в комнату и увидели несуразно одетого бородатого старика, заматанного в плед прямо поверх одежды. Он лежал на диване и спокойно глядел телевизор. Вокруг дивана были разбросаны вскрытые и опустошенные консервные банки из-под скумбрии, сельди иваси, зеленого горошка и куры в собственном соку.

— Вы что тут делаете? — грозно спросил я, слегка выставляя вперед швабру. — Как вы забрались в дом?

— Мы сейчас милицию вызовем, — крикнула Галюхина срывающимся голосом.

— Можно я еще здесь полежу? — вместо ответа отозвался старик.

— Нет, нельзя, — опять грозно сказал я. — Немедленно вставайте! Приехали хозяева этой дачи.

Старик нехотя приподнялся, пошарил рукой под кроватью, вытащил недоеденную банку из-под маринованных огурцов, и, прижимая ее к груди, двинулся к двери. Мы посторонились, и бомж бочком протиснулся между нами, разя сырым кислым запахом.

— Он без зазрения совести у меня все, даже варенье, сожрал, — прошептала Галюхина. — Может, все-таки вызовем милицию?

Мы вслед за бомжом дружно высыпали на крыльцо. В сером, холодном, безлиственном пейзаже сутулая фигура удаляющегося бродяги показалась особенно жалкой.

— А ведь у него, кроме банки твоих огурцов, Элина, больше нет ничего, — проговорил я, поеживаясь.

— И что? — Галюхина посмотрела на меня с недоумением.

— Ничего... Может, накормить его хотя бы?

После неловкой паузы как-то совершенно нелепо прозвучал мой неуверенный крик в сторону уходящего:

— Молодой человек, давайте мы вас хоть чаем напоим горяченьким.

— Нашел молодого, — шепнула жена.

Старик не спеша обернулся и посмотрел на нашу компанию.

— Пойдемте к нашему столу, — спустился я с крыльца, и, подойдя к старику, взял его под локоток. — У нас, вон, на улице все стоит уже.

Мы усадили его за стол. Жена вынесла тарелки и большую кастрюлю с макаронами.

— Элина, ты тоже приходи, — сказала она, раскладывая вилки. — Мы не ждали, что кто-то кроме нас придет, но наварили на целый полк.

— Да у меня еще дел полно, я ж ненадолго, — проговорила Элина. — Я попозже зайду.

Она с опаской посмотрела на старика, всем видом показывая, что не придет, пока плохо пахнувший бомж не покинет писательского поселка.

— И вообще, — шепнула она на ухо жене, — вы его тут не очень-то привечайте. А то понравится, так он вообще не уйдет. Оно вам надо?

— Да ладно, человек же все-таки.

— Да я понимаю, самой жалко. Только вы себя на моем месте представьте. Приезжаешь, а у тебя в доме непонятно кто сидит.

Дымящиеся макароны на весеннем ветерке остывали довольно быстро. Однако, старик до вилки так и не дотронулся. Он поставил на стол прихваченную с собой банку и, тихо вздыхая, устался в пол.

— Извините, как вас зовут? — спросил я.

Он промолчал.

— Вы угощайтесь. Вам надо подкрепиться. Вы откуда сами, как здесь оказались? У вас есть документы?

Старик не отвечал, и чем помочь ему, было совершенно непонятно.

— Мы вам денег можем дать на электричку до города, — сказала жена.

При слове «денег» старик как-то брезгливо посмотрел на нас и, кашлянув, произнес:

— А день какой сегодня, не подскажете?

— Господи, Тимофей Кузьмич! — вскричали мы в один голос. — Вы ли это?

Это было немислимо, но в заросшем бородой, сутулом непонятном старике неясно угадывался образ нашего надменного и чопорного Паутиныча. Этот колючий насмешливый взгляд из-под кустистых бровей, этот орлиный нос... Но куда подевался рост? Наш Промокашкин был довольно высок, а этот — маленький и еще более худой.

— Элина, беги сюда скорее, — закричала жена.

— Что еще?! — уже неслась к столу Галюхина в ужасе.

— Это наш Тимофей Кузьмич! — кричала жена. — Это же наш Тимофей Кузьмич!

Старик, обеспокоенный поднявшимся шумом, опасливо озирался по сторонам.

Женщины дозвонились до родственников Промокашкина. Те на какое-то время лишились дара речи от неожиданности. Выяснилось, что ранней весной они заселили его в пансионат «Спутник». Полторы недели назад он, несмотря на приставленную к нему сиделку, бесследно исчез из своей люксовой палаты. Весь пансионат был поставлен на уши. Родные расклеили на столбах объявления о пропавшем пожилom человеке, страдающем провалами в памяти и потерей ориентации, обратились в милицию. До последнего момента все было тщетно...

Буквально через полчаса за ним явилась целая делегация из «Спутника». Начали благодарить нас, хотя именно мы, живя с ним бок о бок долгие годы, попросту не узнали старика, а потому испытывали больше чувство неловкости, нежели гордости. Не пожалей мы «бомжа», он так и отправился бы восвояси. На какое-то время радость события совершенно затмила самого Промокашкина, который все также сутуло сидел за столом с банкой галюхинских огурцов. Он так ни разу и не прикоснулся к уже ледяным макаронам.

Вглядываясь в его такие незнакомые теперь черты, я все никак не мог понять, почему мы не узнали его раньше. Конечно, прежде у него не было густой седой бороды, делающей его похожим на Энгельса. Он всегда был гладко выбрит. Но этот взгляд, сутулость, тонкие сухие пальцы, в конце концов...

— Куда бы он пошел, — сокрушалась жена, — если б мы его отпустили просто так?

— А ведь его вела в свой домик какая-то иная, внутренняя память. Он спокойно пришел туда, где прожил столько лет. Замки-то, кстати, не взломаны.

— Значит, у него с собой ключ от дачи, — заключила жена.

— Если бы не твои, Элина, консервы, он мог здесь и с голоду умереть, — ужаснулся я. — Как вовремя ты приехала!

Это был последний раз, когда мы видели Промокашкина. Невероятная история облетела воронью слободку подобно буре. Ее пересказывали друг другу по многу раз. Ни одно застолье не обходилось без шуток про бомжевание Паутиныча. История стала обрастать фантастическими подробностями и гиперболами. По одной версии он прожил в домике всю зиму и замерз там в конце весны, по другой он якобы сбежал в свой домик от врачей «Спутника», проводивших над ним какие-то геронтологические эксперименты.

И все же мне приятнее вспоминать Тимофея Кузьмича совсем в другом здравии и обличи.

12.

Однажды летним утром я застал Промокашкина за седланием своего старенького дорожного велосипеда. Он любовно приторачивал к седлу бутылочку с водой. Я в восхищении поприветствовал его. Он снисходительно кивнул. На тот момент ему было не то девяносто три, не то девяносто четыре года.

— Как здоровье, дорогой Тимофей Кузьмич? — излишне сладко воскликнул я.

Он нехотя отозвался, не глядя на меня:

— Я, пожалуй, отвечу словами аббата Галлиани, обращенными госпоже д'Эпине: «Не исцелиться, но научиться жить со своими болезнями». Вот это — искусство и правильное приложение своих усилий. Я пытаюсь жить с ними в согласии, насколько это удается...

— Какая мудрая мысль! — поразился я. — А я всю жизнь воспринимаю болезни как поломки в автомобиле. Надо заменить тормозной шланг или пройти развал-схождение, и тогда все раз и навсегда поправится. Но, видимо, это иллюзия. Человек — не автомобиль. В нем все постепенно перестает обновляться, восстанавливаться, регенерировать. И процесс этот не остановим мазями или каплями. Ваш аббат прав! Куда более продуктивно — научиться дружить со своими болячками, раз уж их невозможно победить.

Промокашкин одобрительно кивнул головой:

— Победить невозможно. Их нужно приручать и брать в собеседники. Они тоже кое-чему могут научить. До вас в вашем домике жил лауреат премии «Национальный бестселлер» Сергей Носов. Так вот, у него роман есть, где герой мучается межпозвонковой грыжей. Он с ней разговаривает, сорится, спорит, дружит до такой степени, что жена начинает его ревновать к ней. Победить болезнь не стоит и пытаться. Мне это уже давно понятно. Поэтому я неплохо подготовился.

— Что вы имеете в виду, Тимофей Кузьмич?

Он смерил меня скептическим взглядом и зловеще проскрипел:

— Хотите, я покажу вам свою могилу?

— Это как? — я подумал, что ослышался.

— А вот так. Я собираюсь в магазин за хлебом на этом мускульном механизме, а потом мы сможем прогуляться с вами до кладбища! — и он снова погладил велосипед, такой же старенький, скрипучий и костлявый, как он сам.

Несмотря на то, что у меня были планы, я все же согласился, ибо мы давно уже не совершали с ним совместные прогулки. Тем более, его слова всерьез заинтриговали меня.

Путь от писательских дач до Комаровского некрополя был неблизкий — километра три. Тенистые сосны под жарким солнцем источали невероятный хвойный аромат, выжимая из своих стволов тягучие мутные капли смолы. Не переставая звенели птицы, наполняя все пространство совершенно разным, но звучащим тем не менее в унисон свистом и цокотом. Изредка между трелей просачивалась дробь дятла. Тимофей Кузьмич в очередной раз рассказал мне, как Ахматова помогла ему с подушкой. Он рассказывал мне эту историю раз пять, и я каждый раз слушал с неподдельным интересом, потому что он все время прибавлял

еще что-то малозначительное, но все же удивительно важное для меня. В этот раз он поведал, как по утрам пивал чай с Сильвой — женой поэта и переводчика с китайского Александра Гитовича, чей домик тоже находился рядом. Он приходил к Гитовичам по утрам, и жена зычным голосом звала мужа: «Ильич, прошу к столу, к нам Кузьмич пришел». Однако пожилой поэт, тоже встававший очень рано, любил выпивать уже с утра и не всегда выходил к гостю.

Так, незаметно, дошли мы до кладбища и по центральной аллее не спеша приблизились к могиле Анны Андреевны. Напротив большого железного креста была врыта каменная скамья, на которой всегда стояли пластмассовые контейнеры с церковными свечками и многочисленные коробки спичек. Само лаконичное мраморное надгробие было усыпано живыми цветами. С краю кто-то даже положил неизвестный мне весенний гриб. Мы взяли по свечке и, зажегши их, поставили в небольшой металлический домик с песком и стеклянной дверцей, где уже было воткнуто несколько таких же.

— Свечной скворечник, — произнес я, почтительно вздыхая.

— Я знал, наверное, половину всех людей, что здесь похоронены, — проронил Промокашкин, снимая неизменную кепку.

Мы постояли молча. Шишка, сорвавшись с сосны, звонко шлепнулась на дорожку, отскочила на могильную плиту и затерялась среди возложенных в беспорядке пионов и гвоздик.

— Что ж, пойдете, — сказал Промокашкин. — Уже немного осталось.

В данном контексте эта фраза прозвучала как-то не особенно радостно, но старик был бодр, и в глазах его под густыми бровями светились решимость и тот самый огонек, который никак не истолковывался однозначно.

И правда, недалеко, шагах в пятнадцати, у самой кладбищенской ограды мы обнаружили ряд свежих могил с небольшими каменными надгробиями, среди которых и в самом деле стоял скромный невысокий гранитный квадрат с надписью:

Тимофей Кузьмич Промокашкин 1925 — ...

Последней даты выбито не было.

— А вы думали, старик в маразме совсем? — сказал он сурово, хотя глаза его смеялись.

— Зачем вам это? — спросил я, сглотив слюну. — Вы ж так притягиваете к себе смерть.

— Она неизбежна. Я прекрасно это знаю. Зато возни родственникам меньше. Знаете, насколько хлопотное дело — получить здесь разреше-

ние на захоронение? Теперь это лично губернатор решает. Как на небо лезть!

— Здесь в землю лечь, как на небо лезть, — машинально пробормотал я.

Мы простояли у могилы примерно столько же, сколько у ахматовской. Опомнившись, что никакого Промокашкина еще в могиле нет, я согнал с лица скорбное выражение и с напускной веселостью спросил:

— И что вы чувствуете, видя собственную могилу?

Он немного помолчал и сказал просто, сухо, по складам:

— Ни-че-го.

Мне показалось неловким продолжать разговор на эту тему.

После этого я часто показывал своим гостям как артефакт могилу еще живого Промокашкина, каждый раз наблюдая их неподдельное изумление, если не ужас. Мне же почему-то это начало казаться забавным. Когда же года через три он действительно умер, я, зайдя на кладбище, его могилы уже не нашел. Стояли рядами, как стояли и при нем, надгробные плиты собкора литературы Ильи Фoniaкова, главного редактора журнала «Нева» Бориса Никольского и многих-многих других, но камня Промокашкина среди них не было. Пару раз мы с друзьями обошли все кладбище по периметру. Результат был тот же. Я говорил с его соседями — поэтом Семеновым, драматургом Скворцовым, прозаиком Протоповым. Все в один голос подтверждали, что он лежит у ограды, недалеко от Ахматовой, но могилы там не было. В конце концов, мы даже стали шутить, что великие мертвецы изгнали Промокашкина с кладбища, как когда-то коллеги исключили его из Союза писателей, поскольку он оказался их недостоин. Но в какой-то момент мне стало не до смеха. Во-первых, я выглядел полным идиотом перед самим собой, зная, что при жизни могила у человека была, а после смерти исчезла, а во-вторых — болтуном перед людьми, которые отказывались верить в подобные метаморфозы. Я и сам уже сомневался, была ли она на самом деле.

Ситуация разрешилась самым банальным образом. Сын Тимофея Кузьмича подхоронил прах отца позднее. А плиту просто сняли и хранили в словорубной мастерской, для того, чтобы выбить на ней дату смерти и положить под нее урну.

Однако, моя фраза о том, что при жизни человек имел собственную могилу, а как умер — лишился, запомнилась, и председатель Протопов всякий раз смеялся над ней, приговаривая: «Да, это очень в духе Кузьмича! Он при жизни был такой. Таким же остался и после жизни!»

Всякая жизнь оканчивается смертью. Однако у Промокашкина было и загробное существование, а точнее — его жизнь в нашей жизни после смерти. И книжки Раймонда Моуди тут абсолютно ни при чем.

— Друзья мои, — собрал как-то присутствовавших на тот момент дачников наш предводитель Протопопов, — давайте что-то решать с частью дома Тимофея Кузьмича, которого уже второй год нет с нами. Уже июнь на носу. Мы в прошлом году ожидали, что заедут его родственники. Но, судя по всему, им это не очень интересно. Надо продумать, кто из наших писателей претендует на наиболее веских основаниях.

— Совершенно справедливо! — посетовала Элина Галюхина. — Полдома пустует. За всю весну родственники Паутиныча, то есть Промокашкина, так и не приехали ни разу. У нас Замирзаев уже пять лет на очереди стоит и все никак заехать не может. Или верлибристу Иноземских предложить? Он тоже претендовал.

— Конечно, предложите, — поддержала ее моя жена. — Вместе веселее будет.

— Дело не только в веселье. Нам же взносы надо за сезон собрать! Если полдома пустует, как и с кого мы их взыщем? — резонно вмешался Семенов. — А еще крыши предстоит латать. Электрика в домах совсем ветхая. Того и глядишь — замыкание будет. И печки нужно все осмотреть. У нас заслонки совсем разболтались. Дымят.

— Туалеты надо чистить. Машину для откачки дерьма вызывать, — вступил только что приехавший из города Скворцов.

— Молодые люди, сигареткой не угостите? — незаметно подкралась к нам Инна.

— Не курит никто здесь, Инночка, не курит, ступай к себе, — беззлобно попытался спровадить ее супруг.

— У меня от одновременного включения чайника и обогревателя весь дом вырубается, — не обращая внимания на Инну, согласилась моя жена, весьма активная, когда дело касалось общественных мероприятий.

— Вот вы меркантильные люди! — вдруг встряла переводчица Альдебаранова. — Чайники у них отрубаются. Хозяин еще не съехал, а они о взносах суетятся!

— Что значит «не съехал»? — кашлянула Элина.

— А то и значит. Он еще на подоконнике стоит, а вы уже его жилплощадь делите, — Альдебаранова победно обвела всех взглядом.

— Кто стоит? — оторопела Элина. — Паутиныч на подоконнике стоит?

— Да на своем подоконнике. В крайней комнате. Я только сегодня за черникой в лес ходила. Прошла мимо. Гляжу — стоит.

Мы все оторопело посмотрели на нее.

— Альдебаранова, ты в своем уме?! — воскликнула Галюхина. — Что ты несешь?

— Нет, ну я еще с ума не сошла. Идемте, покажу! — и переводчица победно пошла к домику Промокашкина.

Мы в полном молчании двинулись за ней. Председатель замыкал наши ряды. Протиснувшись между забором и стеной дома, ломая заросли густого ивняка и душистой, вот-вот готовой зацвести, спиреи, мы шумно протиснулись к указанному окну.

— Вот! — победно указала на промокашкинское окно Альдебаранова. — Хозяин еще на подоконнике, а мы тут его метры делим. Прямо булгаковщина какая-то. Помните: «Хорошие люди москвичи, квартирный вопрос только испортил их...»

Мы по очереди, так как всем одновременно было не протиснуться, подходили к запыленному окну и молча глядели сквозь паутину и блики на красивую вазу квадратной формы, стоявшую с той стороны.

— Господи, Альдебаранова! — шумно выдохнула Галюхина. — Ты меня до инфаркта доведешь!

— А что, еще пепел Промокашкина не остыл, — Альдебаранова пафосно воздела указательный палец к небу, — а они уже комнату его распределяют!

— Пепел Клааса стучит в мое сердце! — нелепо ляпнул я, и сам тотчас устыдился своей шутки.

— Действительно, как-то нехорошо въезжать в комнату, если урна с прахом хозяина в ней стоит, — покачал головой Протопопов. — Вы как хотите, а сначала надо бы с родственниками связаться.

— Да с чего ты взяла, что это урна? — вскричал Семенов. — Может, это ваза цветочная?

— Извините, пожалуйста... — протиснулась к тому же окну Инна.

— Нет сигареток, милая, — предупредила ее вопрос Альдебаранова.

Конечно, при вскрытии комнаты оказалось, что это обыкновенная ваза, хоть и нестандартной формы. Я бы и сам мог спутать.

Еще мое внимание привлекла старая, вылинявшая визитка, прижатая уголком вазы к засаленной скатерке, на которой я узнал ту самую надпись, удивившую и рассмешившую нас с Промокашкиным когда-то в кафе: «Есть проблемы? Есть решение! Назар Нуры». И телефонный номер внизу. Свою такую же я давно сжег в ахматовской печке, но теперь вновь представилась возможность позвонить...

Что ж, Назар, если ты решаешь проблемы — может, решишь и эту? Подскажи, где теперь Тимофей Кузьмич?